

АВТОБИОГРАФИЯ

Вместо предисловия

...написать о себе. Предмет этот, столь интересовавший меня раньше и заставлявший подолгу рассматривать свои собственные изображения на бром-портрете и унибrome, произведенные фотоаппаратом «Фотокор», и полагать в тринадцать лет, что к тому времени, когда я стану умирать, будет произведено лекарство от смерти, и завязывать в ванной старой наволочкой голову после мытья — чтобы волосы располагались в том, а не в ином порядке, и изучать свою улыбку... Предмет этот, повторяю, с годами утратил для меня свою привлекательность. Более того, чем больше я наблюдаю за ним — а наблюдать приходится, никуда от него не денешься — тем больше мое «альтер эго» критикует, а порой и негодует по поводу внешнего вида, поступков и душевной слабости описываемого предмета...

Ю. Визбор

Я родился по недосмотру 20 июня 1934 года, в Москве, в родильном доме имени Крупской, что на Миуссах. Моя двадцатилетняя к тому времени матушка Мария Шевченко, привезенная в Москву из Краснодара молодым, вспыльчивым и ревнивым командиром, бывшим моряком, устремившимся в семнадцатом году из благообразной Литвы в Россию Юзефом Визборасом (в России непонятное для

пролетариата «ас» было отброшено и отец мой стал просто Визбором), — так вот, отяжелев мною, направилась матушка как-то со мною внутри сделать аборт, чтобы избавить свою многочисленную родню — Шевченко, Проценко, Яценко от всяческих охов и ахов по поводу столь раннего материнства. Однако дело у нее это не прошло. В те времена — да простят мне читатели эти правдивые подробности, но для меня, как вы можете предположить, они были жизненно важны — в те времена необходимо было приносить с собой свой таз и простыню, чего матушка по молодости лет не знала. Так она и ушла ни с чем (то есть со мной). Вооружившись всем необходимым, она снова явилась, но в учреждении был не то выходной день не то переучет младенцев. Таким образом, различные бюрократические моменты, неукоснительное выполнение отдельными работниками приказов и наставлений сыграли решающую роль в моем появлении на свет. Впрочем, были и иные обстоятельства — отец получил назначение в Сталинобад, с ним отправилась туда и матушка. За два месяца до моего рождения отец получил пулю из маузера в спину, в миллиметре от позвоночника. Мы вернулись в Москву, и вот тут-то я как раз и родился.

Как ни странно, но я помню отца. Он был неплохим художником и писал маслом картины в консервативном реалистическом стиле. Он учил рисовать и меня. До сих пор в нашем старом и разваливающемся доме в Краснодаре висит на стене «ковер», картина, написанная отцом, в которой и я подмалевывал хвост собаки и травку. Впрочем, это я знаю только по рассказам. Первое воспоминание — солнце в комнате, портупея отца с наганом, лежащая на столе, крашенные доски чисто вымытого пола, с солнечным пятном на них, отец в белой майке стоит спиной ко мне и, оборотясь к матушке, располагавшейся в дверях, что-то говорит ей. Кажется, это был выходной день. (Понятия «воскресенье» в эти годы не существовало.) Я помню, как арестовывали отца, помню и мамин крик. В 1958 году мой отец Визбор Иосиф Иванович был посмертно реабилитирован.

После многих мытарств мама (образование — фельдшерица) взяла меня и мы отправились в Хабаровск на заработки. Я видел дальневосточные поезда, Байкал, лед и то росы на Амуре, розовые дымы над вокзалом, кинофильм «Лунный камень», барак, в котором мы жили, с дверью, обитой войлоком, с длинным полутемным коридором и общей кухней с бесконечными керосинками. Потом мы, кажется так и не разбогатев, вернулись в Москву. Мы жили в небольшом двухэтажном доме в парке у академии им. Жуковского. В башнях этого петровского замка были установлены скорострельные зенитные пушки, охранявшие Центральный аэродром, и при каждом немецком налете на нас сыпался град осколков. Потом мы переехали на Сретенку в Панкратьевский переулок. Мама уже училась в медицинском институте, болела сыпным тифом и возвратным тифом, но осталась жива. Я ходил в школу то на улицу Мархлевского, то в Уланский переулок. Учились мы в третью смену, занятия начинались в семь вечера. На Сретенке кто-то по ночам наклеивал немецкие листовки. В кинотеатре «Уран» шел «Багдадский вор» и «Джордж из Динки-джаза», и два известнейших налетчика по кличке Портной и Зять фланировали со своими бандами по улице, лениво посматривая на единственного на Сретенку постового старшину по кличке Трубка. Все были вооружены — кто гирькой на веревке, кто бритвой, кто ножом. Ухажер моей тетки, чудом вырвавшейся из блокадного Ленинграда, Юрий, штурман дальней авиации, привозил мне с фронта то германский парабеллум (обменян на билет в кинотеатр «Форум» на фильм «Серенада солнечной долины»), то эсэсовский тесак (отнят у меня в угольном подвале местным сретенским огольцом по кличке Кыля). В школе тоже были свои события — то подкладывались пистоны под четыре ножки учительского стола, то школьник Лева Уран из персов бросил из окна четвертого этажа парту на директора школы Малахова, но не попал.

Отчим — рабфаковец, министерский служащий — то бил меня своей плотницкой рукой, то ломал об меня лыжи.

Летом мы с матушкой ездили на станцию «Северянин», примерно в то место, где сейчас расположена станция техобслуживания ВАЗа, и собирали крапиву на суп и ромашку и полынь против клопов.

Я стоял на Садовом кольце у больницы имени Склифосовского, когда через Москву гнали немцев в сорок третьем году. Я видел первые салюты — за Белгород и Орел. Ночью 8 мая все сретенские дворы высыпали на улицу. 9 мая на Красной площади меня едва не задавила толпа и спас меня сосед Витя, бросивший меня на крышу неизвестно чьей «Эмки».

Вскоре мы переехали на Новопесчаную улицу, где стояли всего четыре дома, только что построенные пленными немцами. Иногда они звонили в квартиру и просили хлеб. По вечерам студент Донат выносил на улицу трофейную радиолу «Телефункен» и под эти чарующие звуки на асфальте производились танцы. Коля Малин, ученик нашего класса, впоследствии известный ватерполист и тренер, получил в подарок от отца-штурмана магнитофон американского производства, и весь класс ходил смотреть на это чудо. В ресторане «Спорт» на Ленинградском шоссе «стучал» непревзойденный ударник всех времен Лацци Олах, подвергавшийся жестоким ударам со стороны молодежных газет. В доме мне жизни не было, и я фактически только ночевал в своей квартире. Отчим, приобретший телевизор КВН, по вечерам садился так, что полностью закрывал своим затылком крошечный экран. Впрочем, матушка, уже к тому времени врач, нашла противоядие, как-то сказав ему, что телевизионные лучи с близкого расстояния пагубно действуют на мужские достоинства. Отчим стал отодвигаться от экрана, но это обстоятельство никак счастья в семье не прибавило.

В те годы мне в руки впервые попала гитара и нашлись дворовые учителя. Гитара общепринято считалась тогда символом мещанства. Один великий написал: «гитара — инструмент парикмахеров», оскорбив сразу и замечательный инструмент, и ни в чем не повинных тружеников расчески.

В четырнадцать лет под влиянием «большой принципиальной любви» в пионерском лагере, где я работал помощником водителя, я написал первое стихотворение, которое начиналось следующим четверостишием:

Сегодня я тоскую по любимой,
Я вспоминаю счастье *прежних* дней.
Они, как тучки, *пронеслися* мимо,
Но снова *страсть* горит в груди моей.

Тетрадка с тайными виршами была обнаружена матушкой при генеральной уборке. Состоялось расследование насчет «прежних дней». На следующий день на своем столе я обнаружил «случайно» забытую матушкой брошюру «Что нужно знать о сифилисе». Все-таки матушка была прежде всего врачом.

О себе я полагал, что стану либо футболистом, либо летчиком. Под футбол подводилась ежедневная тренировочная база в Таракановском парке. Под небо существовал 4-й московский аэроклуб, куда я с девятого класса и повадился ходить. Дома мне никакой жизни не было, и я мечтал только о том, что я окончу школу и уеду из Москвы в училище. Я даже знал в какое — в г. Борисоглебске. Два года я занимался в аэроклубе, летал на По-2 и чудесном по тем временам Як-18. Когда окончил учебу (в десятый класс был переведен «условно» из-за диких прогулов и склонности к вольной жизни) и получил аттестат зрелости, вообще переехал жить на аэродром в Тайнинку. Но однажды туда приехала мама и сказала, что она развелась с отчимом. С невероятной печалью я расстался с перкалевыми крыльями своих самолетов и отправился в душную Москву поступать в институт, куда я совершенно не готовился. Три вуза — МИМО, МГУ и МИГАИК — не сочли возможным видеть меня в своих рядах. В дни этих разочарований мне позвонил приятель из класса Володя Красновский и стал уговаривать поступать вместе с ним в пединститут. Мысль эта мне показалась смешной, но Володя по класс-

ной кличке Мэп (однажды на уроке он спутал английское слово «мэм» с «мэп») уговорил меня просто приехать и посмотреть это «офигительное» здание. Мы приехали на Пироговку, и я действительно был очарован домом, колоннами, светом с высоченного стеклянного потолка. Мы заглянули в одну пустую и огромную аудиторию — там сидела за роялем худенькая черноволосая девушка и тихо играла джазовые вариации на тему «Лу-лу-бай». Это была Света Богдасарова, с которой я впоследствии написал много песен. Мы с Мэпом попереминались с ноги на ногу, и я ему сказал: «Поступаем».

Был 1951 год. Я неожиданно удачно поступил в институт, и только много позже, лет через десять, я узнал, что мне тогда удалось это сделать только благодаря естественной отеческой доброте совершенно незнакомых мне людей. Потом были — институт-песни, походы-песни, армия на Севере, возвращение, дети, работа, поездки, горы, море и вообще — жизнь.

Но обо всем этом — уже в песнях.

Синий перекресток

Журналистика — моя единственная профессия. Сейчас я занимаюсь киножурналистикой, документальным кино. Я получил пять премий за свои работы в документальном кинематографе, три из них — международные. Это моя основная работа, которую я люблю. Документальное кино — это во многом нераспаханное поле, а если оно и пашется, то по каким-то консервативным канонам. Там очень много возможностей для различных изобретений. В частности, я много занимался морской темой. Три раза я прошел Северный морской путь на судах и ледоколах и на двух фестивалях «Человек и море» получил разные призы за свои документальные произведения. Сам не скажешь — никто ведь не узнает.

Из интервью 1977 г.

РЕПШНУР-ВЕРЕВОЧКА

Несколько лет назад я с группой туристов впервые попал на Кавказ, в Пятигорск. Был жаркий полдень. Мы выгрузили свой багаж из электрички и вышли на привокзальную площадь. И вдруг откуда-то справа послышался отдаленный шум. Вскоре шум превратился в грохот, и на площадь выскочил грузовик, полный альпинистов. Во всю мощь своих молодых легких, оздоровленных хрустальным воздухом вершин, они сокрушали покой и благодать города Пятигорска. Казалось, сейчас эти парни выпрыгнут из своей машины и пойдут брать штурмом Цветник и Провал. Но, слава богу, машина на площади не остановилась, и ее грохот постепенно затерялся в кривых пятигорских улицах.

— Ну и ну! — сказал, покачав головой, стоящий рядом с нами старик-железнодорожник.

А между тем альпинисты всего-навсего пели песню. Песню, которую неизвестно кто и когда сочинил, песню, которую знает наизубок любой альпинист, начиная с желторотых новичков и кончая суровыми мастерами высотных восхождений. Называется она «Репшнур-веревочка».

Неизвестный автор был, очевидно, человек решительный — он сразу брал быка за рога. Песня начинается так:

По травянистым склонам быстро
Спускались мы с Тютю-Баши.

Действие изображено, писать вроде больше не о чем, поэтому в двух последующих строчках сообщается кое-что о героях спуска:

И все мы были альпинисты,
И распевали от души.

Памятуя о том, что мелодии русских народных песен широко популярны, автор на мотив «Ленты-бантики да ленты-бантики» присочиняет такой припев:

Репшнур-веревочка,
Репшнур-веревочка,
Веревки в узлы вяжутся.
А альпинисточки по скалам шляются,
Колесной мазью мажутся.

Нормальное ударение в слове «узлы» никак не укладывалось в размер. Поэтому получились «у́злы». И странно: серьезные люди — научные работники, инженеры, рабочие, студенты — поют эти самые «у́злы». Поют хором и мурлычут в одиночку, исполняют в концертах художественной самодеятельности, переписывают в тетради. Да и как же не переписывать? Ведь в песне сосредоточены важнейшие принципы альпинизма. Вот они:

В основе спорта альпинизма
Всегда стоял вопрос еды.
Коль не накормишь альпиниста,
Он ни туды и ни сюды.
В основе спорта альпинизма
Лежит художественный свист,
А коль свистеть ты не умеешь,
Какой ты, к черту, альпинист!

Может быть, некоторым товарищам, ни разу не бывавшим в горах, песня покажется редким экспонатом. Нет, это одна из самых распространенных альпинистских песен. Она живет уже многие годы, и неизвестно, сколько еще будет жить. И песня эта не составляет особого исключения.

Среди нашей спортивной молодежи бытует масса песен — бездумных, глупо-экзотических и просто пошлых.

Молодым людям, отправляющимся в поход, ничего не стоит, например, глубоко удивить пассажиров поезда таким сочинением:

Мы идем по Уругваю,
Ночь, хоть выколи глаза,
Но никто из нас не знает,
Скоро ль кончится гроза.
Только дикий рев гориллы
Нарушает в джунглях сон,
Осторожней, друг мой милый, —
Где-то воеет саксофон...

Поется эта, с позволения сказать, песня на склонах Кавказских гор, в снегах Полярного Урала, в подмосковной электричке.

Кстати, об электричке.

Туристы, отправляющиеся в пригородном поезде на лоно природы, считают своей первейшей обязанностью оглашать окрестность песнопениями. А электричка полна народу: едут рабочие и служащие, едут дачники, рыболовы. И,

пользуясь тем, что еще не введен штраф за публичную демонстрацию плохого вкуса, молодые любители путешествий хором начинают петь:

Я уходил тогда в поход,
В кавказские края,
Осталась дома банка шпрот,
Моя любимая.
Чтоб этот я прошел поход,
Чтоб жив остался я,
Пришли сюда мне банку шпрот,
Моя любимая.

Исполняется это произведение обычно под аккомпанемент заливчатского гитариста, которому ноты не более знакомы, чем парикмахеру звезды в созвездии Волосы Вероники. А люди в поезде слушают. Слушают и вспоминают...

Я уходил тогда в поход,
В суровые края.
Рукой взмахнула у ворот
Моя любимая.

Война... Песня, которая пелась в землянках, в эшелонах, идущих на фронт, в партизанских отрядах... Хорошая, милая песня. Кто-то взял ее и испортил. И люди уходят в другие вагоны.

Туристы же продолжают петь: у них ведь еще в запасе отличная песня «Убит поэт»! И действительно, на мотив «Когда б имел золотые горы» бессовестно распевается лермонтовское стихотворение. На этот же мотив поется «У лукоморья дуб зеленый». Просто диву даешься: откуда такая изобретательность?

В альпинистских лагерях иногда устраиваются вечера песни. Взрослые люди, образованные, начитанные, имеющие детей и занимающие солидные посты в учреждениях, громогласно утверждают следующее:

Я с детства был испорченный ребенок,
На папу и на маму не похож,
Я женщин обожал еще с пеленок,
Эх, Жора, поддержи мой макинтош!

Я сам сторонник чистого искусства,
Которого теперь уж не найдешь.
Во мне горят изысканные чувства,
Эх, Жора, поддержи мой макинтош!

Вслед за этим «опусом» знатоки русской словесности
распевают песню про Одессу:

А гений Пушкин тем и знаменит,
Что здесь он вспомнил чудное мгновенье...

Из Новосибирска и Ленинграда, из Нижнего Тагила и Симферополя, из многих городов и сел нашей страны съезжаются люди в альпинистские лагеря на сборы и соревнования. Приезжают они туда наивными глупцами, усвоившими курс литературы в пределах школы или института и курс альпинизма по учебнику В. М. Абалакова. Уезжают же — всесторонне развитыми людьми, твердо знающими, в чем причина известности Пушкина и как формулируются основные принципы альпинизма.

Вот как обстоят дела с музыкальным бытом спортсменов. И все же было бы неправильно утверждать, что поются только такие песни. Теми же альпинистами написано немало привлекательных песен. Назовем некоторые из них: «Баксанская», «Барбарисовый куст», «Снег», «Рассвет над соснами встает». А вот, например, задушевная лиричная «Поземка»:

Ветер поземку крутит,
Звезды мерцают в тучах,
А впереди мигают
Далеких сел огни.

Где-то гармонь страдает,
Кружится снег летучий
И серебром ложится
Около нашей лыжни.

Эти песни всегда поются с увлечением. Но беда в том, что их никто не пропагандирует. Печатаются изредка спортивные песни, написанные профессиональными композиторами. Но их почти не поют. Вернее, они сами не поются. Как правило, мелодии их маложизненны, а в стихах лишь формально рифмуются те или иные спортивные лозунги. И никто до сих пор не позаботился о том, чтобы как-то распространять лучшие песни, созданные самими спортсменами.

Этот фельетон написан против пошлости и безвкусицы, пустившей довольно глубокие корни в песенном спортивном быту. Но дрянные песни не искоренишь статьями и разговорами. Их можно искоренить только другими песнями — хорошими.

1959

АВТОР ПЕСНИ

Рассказ

Василий Николаевич проснулся оттого, что снизу шел густой табачный дым. «Опять курят», — подумал он и недовольно повернулся на другой бок. Но заснуть ему так и не удалось.

За окном темнела оренбургская степь. Поезд с синими огнями ночных лампочек летел сквозь марево рождающегося утра.

В одном купе с Василием Николаевичем ехали альпинисты. Беспокойная это была публика! Обедали они, например, так: привязывали к потолочному вентилятору ве-

ревку, на нее подвешивали ведро с помидорами, клали на стол соль, две буханки хлеба и поочередно брали помидоры из болтающегося ведра. И были страшно довольны. А что хорошего? Ни пройти, ни проехать. После обеда альпинисты укладывались на свои полки и молодецки храпели до вечера. Вечером, когда всем нормальным пассажирам надо бы на покой, они просыпались, доставали гитары, пели песни, рассказывали какие-то смешные, на их взгляд, истории, словом, до утра мешали спать.

Василий Николаевич вздохнул и сам было потянулся за папиросой. Неожиданно раздались аккорды гитары и кто-то негромко запел:

Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные гремят...

Василий Николаевич прислушался. Ему вдруг стало не по себе. «Не может быть, — подумал он. — Не может быть!»
А молодой голос продолжал:

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней...

Василий Николаевич спрыгнул с полки и вышел в пустой коридор. Сонная степь проносилась за окнами вагона. Глухо стучали колеса. А из приоткрытой двери купе звучала песня.

Василий Николаевич закурил и прислонился виском к холодному стеклу...

Как это было давно!

...Сначала ему вспомнился снег. Снег на вершинах гор, на стволах сосен, в валенках. Снег, засыпавший землянку так, что в нее можно было только вползть. Снег сыпучий, в котором можно утонуть, как в воде, снег, закаленный жестокими ветрами, твердый, как клинок. Тяжелая то-

гда была пора. Был Василий Николаевич совсем молодым пареньком, и звали его Васей, просто Васей. Маленькая саперная часть, в которой он служил, уже целую неделю стояла у подножья Эльбруса. Связь была нарушена. В штабе армии эту часть, очевидно, считали погибшей.

Головные отряды фашистской дивизии «Эдельвейс» шли вверх по ущелью Баксана. Как далеко они продвинулись, никто не знал.

После многих неудачных попыток связаться с соседними частями созвали открытое партийное собрание. Речь шла не только о решении своей собственной судьбы — это был суровый разговор о войне и судьбе Родины.

Постановили: никуда из Баксана не выходить, заминировать дорогу, драться с врагом до последней возможности.

В тесной землянке было жарко. С бревенчатого потолка капала вода. По железной печурке бегали беспокойные золотые искорки...

Командир саперов старший лейтенант Самсонов, держа руки у раскаленной печки, тихо говорил:

— Другого решения я и не ждал. Но мы не знаем, где враг. Нужна разведка. Идти по долине навстречу немцам — бессмысленно. Тропа у нас только одна, и никуда с нее не уйдешь. Может, ты, Роман, предложишь что-нибудь?

Сержант Роман Долина поднялся с нар. До войны он занимался альпинизмом и хорошо знал район Эльбруса.

— Надо идти наверх, — сказал он. — Есть вершины, с которых долина Баксана просматривается на 30—40 километров.

— А много ли времени потребуется на восхождение? — спросил Самсонов.

— Сейчас скажу... Так... Значит, восемь часов подъема и часа три спуска. Короче, если завтра с утра выйти, то к вечеру, часам к девяти, можно быть уже здесь. Но это при хорошей погоде и видимости.

— Понятно, — сказал Самсонов. — Кто хочет идти с Долиной?

В землянке зашумели.

— Братцы! — гаркнул Роман. — Все равно с собой никого не возьму: альпинистов нет, а лишний человек мне, честно сказать, обузой будет.

— Я спрашиваю, кто хочет идти с Долиной? — спокойно повторил Самсонов.

Все замолчали. Долина примирительно кашлянул и сказал:

— Давайте, пожалуйста... Тогда уж пусть лучше Васька маленький идет...

Рассвет застал их на пути к вершине.

— И на что я тебя взял? — рассуждал Долина. — Конечноности у тебя малогабаритные, силы — никакой... Минер ты, прямо скажем, средненький. Так себе минер...

— Ты за себя беспокойся, — огрызнулся Вася.

— Желчи много в тебе, Василий Николаевич, — усмехнулся Долина. — Потому ты и желтый такой. А желчь самым прямым образом происходит от злости. Вот возьми, к примеру, меня — я розовощекий, статный, красивый человек. А все почему?..

Долина вдруг остановился.

— Видишь тот гребень?

— Вижу.

— Так вот по нему мы поднимемся на вершину. А когда спустимся, выдам тебе справку, что ты совершил восхождение на вершину второй «а» категории трудности. После войны значок альпинистский можешь получить.

— Да отстань ты!

— Не хочешь? А то носил бы его на правой стороне груди вместе с многочисленными орденами и медалями. Весь колхоз ходил бы смотреть...

Так подошли они к гребню. Скалы круто уходили вверх.

— Носки на тебе шерстяные есть? — спросил Роман.

— Есть.

— Снимай.

— Зачем?

— Снимай, говорю. Руки поморозишь.